

«Золотой цветок—одолень»

Об одноименном романе магнитогорского писателя В. И. Машковцева

Прежде, чем говорить о романе «Золотой цветок—одолень», я хочу коротко осветить творчество талантливого поэта и писателя, создателя этого романа — Владилена Ивановича Машковцева.

Свою творческую деятельность Владилена Иванович начал еще в молодости, когда почувствовал тягу к русской литературе. Именно тогда и появились на свет его первые стихотворения. Всю свою жизнь он писал стихи и только в зрелом возрасте сотворил такое чудо, как исторический роман.

Его родина — прекрасный край Урал — оставила глубокий след в его творчестве. Это — простота, народность и в то же время изящество и мудрость, неповторимость каждого созданного им произведения.

Чуткость и внимательность писателя помогли разглядеть золотую жилу в «Истории Пугачевского бунта», созданного А. С. Пушкиным. Этой жилкой оказалась легенда о происхождении ялдокого казачества. Она гласит о том, что в давние—предавние времена казаки на Яике не жили оседло. Поселялись от похода до похода. А уходя в поход, убивали своих жен и детей. Но этот жестокий обычай рухнул при атамане Василии Гугне, который отказался убить свою жену — пленную ордынку Гугнику. С тех пор, говорится в легенде, за столом первую чашу пьют за бабушку Гугнику, как за человека, не давшего пресечься казачьему роду на Яике.

Так эта легенда легла в основу романа «Золотой цветок—одолень». Этот роман можно назвать богатырским романом не только потому, что семнадцатый век подвергал человека испытаниям, требующим богатырского духа для выживания, но тут и память о схватках с поляками, и сцены сражений с «Ногойской степью», и богатырские мирные забавы самих казаков. Да и сам авторский то, язык — именно богатырский. «Забавным русским слогом», как бы поигрывая то нагайкой, то сабелкой, то колддовскими обычаями, то строгими летописями, с разбойничьей усмешкой поведал нам автор были и небылицы о том, что «казаки живут отчаянно, умирают весело».

Соломон — герой этого романа, как и читатель, впервые открыл для себя, казачий Яик и оценил его с точки зрения делового человека. Для него Яик — это «золотая земля», независимая страна со своими суровыми и не всегда справедливыми законами. Богатый и дикий край, он притягивает к себе своей девственностью и древностью культуры. Невольно задаешь себе вопрос: почему же и зачем богатый и независимый казачий Яик присоединился к жестокой и беспощадной к своим окраинам Москве? Тут Машковцев прикоснулся к самому больному и по сей день неразрешимому вопросу. Москва возвысилась и заняла так много места в сердцах русских людей потому, что «московский царь мыслится своими подданными не столько как государь национальный, сколько как царь православного христианства всего мира».

При первом прочтении романа автора можно обвинить в склонности к чрезвычайной жестокости. Особенно это чувствуется в описании

женских образов. Жены казаков — воительницы, достойные своих мужей.

«Ордынки плыли еле—еле, держась за гривы и хвосты коней. Лодки окружили сотню, не пускали ее ни к тому, ни к другому берегу. Из пущалей и стрелы не надобно было. Стреляли для интереса. Бабы и девки были ордынцев по головам веслами, острогами, секирами. И начали скоро драться и браниться меж собой...»

В одного ордынца вонзили сразу три остроги. И вытащить его из тела невозможно было. Так и бросили вора, ушел ко дну с железом в ребрах... Нахальная Маланья Левичева одна дюжину голов порубила. Совести нет, размахалась.

А Ульяна Яковлева совсем обнагела, выпрыгнула из лодки на круп лошади и зарубила секирой сразу двух ордынцев...»

И даже в кратковременном мирном быту женщины—казачки не теряли свой воительный характер.

Но больше всего поражает нравственный пошлост состарившихся казаков. Они добровольно идут на смерть, чтобы напоследок «послужить обществу». Умирают в кипящих котлах, подрываются в пороховых складах, приговаривая: «Казаки живут отчаянно, умирают весело».

Автор исторически уместно использует расшифровку метафоры. Если мы с детства слышали шуточные угрозы: «Вот я тебе ноги—то переломлю», или «зенки выколю», думаю, что далеко не каждый задавался вопросом, когда возникли такие фразы и были ли они использованы как серьезные угрозы.

«Насима! Изменица проклятая! Я самолично ей зырки каленым железом выткнула!» — возбужденно выпалила Веря.

Вот в какое жестокое время зарождались метафоры, которые мы иногда употребляем в своей речи вот уже несколько веков.

Создание исторического романа — событие во все времена значительное. Особенно, если его замысел переключается с нашим временем. И все же, несмотря на столь давнюю жизнь, описываемую в этом романе, она несколько близка нам, пусть даже тем, что в романе нет ни одного вымышленного лица. А это значит, что читая роман, мы живем с нашими предками. И мы просто обязаны ими гордиться, потому что они умели ценить в любом человеке храбрость, честность, открытость, доброту и справедливость, кем бы он не был — любой веры, любой национальности. Казачье войско было многонациональным. Любим, уважающий традиции казачества, его дух, мог быть принят в казаки.

В конце мая в степях и медленно текущих водах, в прудах, реках Предуралья и Зауралья, вместе с кувшинкой, белой водяной лилией, зацветает и ее родная сестра — желтая кувшинка, или как говорят в народе — «кубышка». Эта кувшинка считается у славян одолень—травой, одолень—цветком, одолеваящим нечистую силу, любые болезни и несчастья, помогающая одолеть в битве врага.

Вот откуда Машковцев взял название своей книги, удачно отразив в ней и народность, и казачий дух.

Валерий КАДОШНИКОВ

Домовой

Из цикла «Встречи по ту сторону»

Дело было глубокой осенью. Снега еще не было, а подмораживало уже изрядно. Тянул холодный северный ветер, но снега так и не приносил. Земля сжималась от стужи и ночами постанывала от мороза.

Стасик Николаев шел к подруге после полочки. Закончив работу, с друзьями из бригады зашли в чипок под названием «Бабы слезы» и приняли изрядную долю алкоголя. А теперь дорога ему была слишком узкой. Ноги развезжались по мерзлой земле, ветер качал его из стороны в сторону. Но не так—то просто было завалить человека, у которого в карманах брюк лежал балласт из двух бутылок «огнетушителя». Они—то и придерживали его в вертикальном положении.

Где по забору, где благодаря балласту, Стасик наконец—то добрался до знакомого дома. Долго нащупывал щеколду у ворот, сопел и матерился. Кое—как открыл ворота и остановился, рассчитывая шаги до двери. Прикрыв один глаз, увидел, что замка на двери нет.

— Ну и ладненько, — подумалось мимоходом, — раз она дома, значит будет все.

Поймав равновесие, двинулся к двери. Дверь оказалась запертой изнутри. На стук и крики никто не отзывался. Темнело. На небе не было ни единого облачка, и луна являлась миру во всей своей красе. Постучав и поматерившись, Николаев задумался.

— До общаги далеко, не дойти, на улице спать холодно, — с пьяной укоризной неведомо кому подумал он. Становилось все холоднее и холоднее. Немного отрезвев, Стасик вспомнил про сенювал, благо что лестница на него была рядом. Махнул рукой на всех и вся и полез по ней, пытая и чертыхаясь. Упал в сено и мертвецки заснул. Сколько проспал — этого не припомнилось ни сразу, ни после. Проснулся оттого, что кто—то тряс его за плечо. Поднял голову, луна стояла полная, видно, словно днем. У его головы с правой стороны плеча стоял маленький старик с метр ростом, лица не было видно — луна светила в затылок. Волосы у старика (как он отметил сразу) были одуванчиковые и светились в

свете луны чистым серебром. Увидев, что человек открыл глаза, старик прохрипел глухим, как из бочки, голосом:

— Иди в дом.

Стас сел, не совсем понимая, где он и что с ним.

— Иди в дом, спать я тебе все равно не дам, — снова сказал старик.

Стас посмотрел на него и опять улегся на сено. Тогда старик зашел с другой стороны и снова стал трясти его за плечо. Стас поднялся и сел.

— Дед, иди отсюда, не мешай спать, — заругался, — а то как вмажу и слетишь отсюда за милую душу.

— Вставай и иди в дом, — стоял на своем старик.

Стас почесал затылок и нехотя ответил:

— Да она меня в дом не пускает.

— Иди, сейчас откроет, — и исчез.

Стасик подумал—подумал и стал, кряхтя, спускаться по ступенькам, не понимая еще — кто и зачем его разбудил.

Только он подошел к двери, как она распахнулась, и его подруга появилась на пороге, еще теплая от сна.

— Заходи, полуночник, — с улыбкой сказала она. Он вошел и скорее стал доставать вино.

— Давай скорее стаканы, а то я ужас как замерз, да и голова разламывается, — буркнул Стас. Когда тепло вошло в его озыбшую душу, он стал рассказывать ей про этот странный то ли случай, то ли сон, веря себе и не веря.

— Это был домовой, — как—то просто и буднично сказала она. И от этой будничности Стаса зябко передернуло — видно выходил остаток холода.

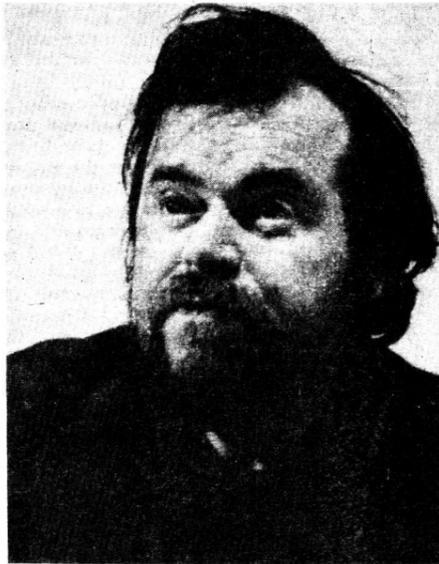
— Меня он тоже разбудил и сказал: «Иди, он стоит у двери. Я встала, открыла — ты стоишь. Вот и все. Видно, ты пришелся ко двору, если он тебя пожалел и не дал замерзнуть. Цени это, — так закончила она свою фразу.

— Да, пожалел меня и твой дом, но не тебя, — подумал Стас, — но ко двору я твоему не подхожу, — и уснул сном праведника.

В каталогах российских музеев — не значился...

О судьбе художника Анатолия Зверева (1931 — 1986)

Человек — это маленькая Вселенная.



На снимке Анатолий ЗВЕРЕВ.

Кем же был этот человек? Тайной. О которой мы уже не узнаем. Созвездием, вобравшим в себя свет и мрак, силу и беззащитность необъяснимого природного мира. Гений без специализированного образования, в разномастных сапогах и ватнике с чужого плеча (из—за подобного внешнего вида и был уволен с первого курса художественного училища). Да, это один и тот же человек — художник Анатолий Зверев. Художник, чьи картины находились в именитых галереях США и Европы, на родине можно было встретить лишь в частных собраниях писателей, ученых, актеров, музыкантов, но ни в одном из музеев России.

Отечественные искусствоведы заинтересовались Зверевым лишь три года спустя после его ухода из жизни в связи с первой посмертной выставкой, собранной в начале 1989 года. Гений, с малярной кистью в руках зарабатывающий на хлеб и краски, приводящий в порядок детские скамейки, качели, заборы. Или же предложив первому встречному за трешник набросать карандашный портрет. «Хочешь, увековечу?», — говорил. Вдохновение накатывало на него внезапно, не оставляя времени на осмысление, чем, как и что писать.

К чему кисти, когда быстрее и удобнее сжать в кулаке несколько тюбиков (пусть это масло, гуашь и акварель вместе) и разом выдавить их содержимое на холст, бумагу, а то прямо на покрывающую стол клеенку и мгновенно, с помощью того, что есть под рукой (зубной щетки, ножа, бритвенного помазка или просто пальца) превратить случайный хаос красок в гармоничную живопись — яркую, глубокую, насыщенную. И тогда... вспыхнет стремительно разлетающимся фейерверком незатейливый подмосковный букет. Сквозь размытость, расплывчатость цветовых пятен проступят очертания до боли русских пейзажей, оживут прекрасные лица друзей, знакомых, возлюбленных...

Порою нетрадиционность материала, чем были написаны картины, становилась темой ходячих легенд по мотивам своеобразных авторских акций Зверева, которые памятли и поныне в устном московском предании о нем.

В его гениальности признавали известные люди. Художник Валентин Воробьев, работающий в Париже, вспоминал: «В 1957 году, от которого идет исторический отсчет нового русского искусства, Анатолий Зверев в свои 26 был легендарен и знаменит без казенной рекламы. Зверева я обнаружил году в 60—м в курилке музея изящных искусств имени Пушкина, и у меня задрожали колени. Рядом был гений. Человек с дорогой сигарой во рту пускал дым кольцами и рисовал, собирая вокруг толпу зрителей...»

Ценивший больше всего личную свободу и независимость, он тихо умер в заброшенном, предназначенном к сносу старинном особняке в одном из арбатских переулков. Другой и знакомый, пришедшие хоронить его, свидетельствовали, что в гробу лежал гений с ликом святого, философа, аскета, подвижника.

Художники и искусствоведы признают, что даже солидные журнальные издательства в своих иллюстрациях не в состоянии передать всего цветного хаоса и гармонии его картин. Да и как этого можно достичь в типографии?!

Артист Камерного театра Александр Румнев вспоминает: «Прогуливаясь по парку, я обратил внимание на рабочих, которые благоустроивали детскую площадку, подраивали песчонницы, грибки, скамейки. Когда дошли до фанерных щитов ограды, к ним присоединился бледный худощавый юноша в овчинном тулупе, слишком большом для него, и в разных сапогах — хромовом и кирзовом. Он принес ведро с белилами и

киноварью и обычный кухонный веник. Подойдя к щиту, он окунул веник сначала в одно ведро, затем в другое — и с небрежным артистизмом стал водить им по фанере. Через несколько минут все вокруг полыхало, лучилось, слепило. На площадке не осталось ни одного незаписанного пространства. Из каких—то неведомых мест прилетели причудливые, похожие на петухов птицы, поражавшие непривычной для тех лет дерзостью палитры...»

В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в парке Горького работала живописная мастерская, где московские художники впервые могли видеть, как творят их западные коллеги. Один из американских корреспондентов, писавших о фестивале, оставил любопытное свидетельство: «Наши рассчитывали ошеломить русских потоком агрессивных абстракций. Сняли пенки с самых авангардных течений и всей этой эклектикой надеялись покаутировать социалистический реализм. Живописный конвейер вертелся без перерыва. Не успев прикончить один холст, хватили следующий. Русские растерялись. Такие темпы оказались для них неожиданностью. Воспитанникам академистов ничего не оставалось, как доказывать правоту словами. Спорили энергично. Нас обвиняли в уходе от социальных проблем. Мы возражали: сначала научитесь свободно обращаться с материалом! Это продолжалось до тех пор, пока в студии не появился странноватый парень с двумя ведрами краски, которые он по—заимствовал у зазевавшихся маляров, и с намоченной на палку тряпкой для мытья пола. Раскатав холст, насколько позволяло помещение, он выплеснул на него одно ведро, вскопил в середине сине—зеленой лужи и отчаянно заработал шваброй. Все не заняло и десятки секунд. Мы замерли от восхищения. У наших ног распростерся огромный женский портрет, исполненный виртуозно, изысканно, с тонким пониманием. Парень подмигнул кому—то из остолбеневших американцев, хлопнул его перепачканной ладонью ниже спины и сказал: «Хватит живописью заниматься, давай рисовать научу». Великий Пикассо, принимая посетителей из Москвы, не упускал случая передать привет «лучшему русскому рисовальщику...»

Так о таком прошу и вспоминать...

Александр СТЕПАНОВ

где палящие дожди,
где в грядущем блага жди,
где витает страх вокруг,
где никто меж нас не друг.

Мечтал увидеть мир сполна, но грезил,
видно вхолостую.

Исколесив лишь часть шестую,
узнал: вокруг нее — стена.

Уверен, Родина, тебя я не унижу.
Тебе на судьбы наши наплевать.

Люблю тебя, люблю и ненавижу,
как сын несчастный забулдыгу—мать.

В зловещей мгле прокисший лес —
что цвезть могло, давно в нем сгнило.

Загнал же в тьму гнилушу Бес,
и плесень разум мой покрыла.

Вот нудной, мерзкой чередой
плетутся дни — творенья Беса.

Не вспомнить мне, кто я такой,
во тьме кружу в трясинах леса.

Вы, пожалуйста, поверьте,
мы спешим на праздник смерти

в беспросветных городах,
где с издевкою нужда,

где дышать давно уж нечем,
где зараза бродит смерчем,